

ложительных и доброжелательных оценок художественной работы его коллег, наряду с приводимыми в книге восторженными отзывами о самом ся авторѣ — свидѣтельства излишни, ибо известность и слава Лифаря не подлежатъ сочинению. При всемъ томъ можно съ увѣренностью сказать, что до сихъ поръ не существовало въ мірѣ танцовщика, который могъ бы написать не только такую значительную книгу, но и вообще какую бы то ни было — и это уже указываетъ на исключительную культурность автора по сравненію съ выдвинувшей его средой.

Л. Сабашевъ.

Д. И. Чижевскій. Гегель въ Россіи (Русская Научная Библиотека, кн. II. Изд. «Современная Записки» и «Любъ Книги». Петръ, 1939).

Книга Чижевского имѣть исключительную цѣнность, не только по богатству использованного материала, дающаго представление о томъ, сколь широко и сколь длительно было влияніе Гегеля въ Россіи, но — и это главное — во своему подлинно-историческому, т. е. философскому, какъ это понималъ самъ Гегель, подходитъ въ проблемѣ Я хочу сказать, что, изслѣдуя вопросъ о значеніи Гегеля въ исторіи развитія русского сознанія, авторъ не упускаетъ изъ виду индивидуальной сущности этого сознанія и имѣтъ съ тѣмъ и тѣмъ самымъ — его общечеловѣческаго, всемирно-исторического смысла; а это — и оять-таки въ согласіи съ Гегелемъ — приводитъ автора къ попыткамъ восстановить обликъ русской культуры въ полной ея душевно-духовной конкретности, выявляющейся въ ея историческомъ развитіи, начинавшемся съ момента пробужденія русского сознанія чѣмъ, приблизительно, совпадаетъ съ «открытиемъ» для Россіи Гегеля, — и до момента обрыва этого развитія, когда по слову антифашистующаго здѣсь Щедрина, «радикальный Угрюмъ-Бурчески» выходитъ въ городъ на бѣломъ конѣ, сжигъ гимназію и упраздняетъ «науки». Превосходно прослѣженъ ритмъ русского развитія, чередованіе отдельныхъ его моментовъ; въ этомъ отношеніи особо орнаментальны и по-разному метко сопоставлены «просвѣщенства» 60-ыхъ годовъ съ его сознательнымъ отверженіемъ духовнаго начала, съ «нигилизмомъ», его непреклонной нетерпимостью ко всякому «некоммунисту», его безнадѣйной «общественности» цензурой, — съ офицізмомъ, казенными нигилизмомъ постѣдника годовъ николаевской эпохи. Въ свѣтѣ нынѣшняго безраздельного торжества бездуховной «совѣтности», и тѣмъ самымъ бездушности, извѣржаго, отрицающаго и именуя «сумасшествіемъ», это сродство «николаевщины» съ «просвѣщеніемъ» выясняется съ полной очевидностью. Не менѣе уично и образъ сине первыхъ волытковъ воскрешенія духовнаго начала (90-ые годы) — сперва блужданія въ потемкахъ, затѣмъ выхода на забытый пріѣздъ путь, которыемъ доселѣ шли только одиночки, либо почти никомъ — «ничѣстные» (Павелъ Бакунинъ), либо замалчиваляемые, а то и подвергнутые преслѣдованію.

(Страховъ) — и большой заслугой автора слѣдуетъ признать дѣлаемую имъ переоценку этическихъ, забытыхъ людей. Въ полнѣмъ согласіи съ методомъ автора и его характеристики отдаѣшь личностей, наиболѣе яркихъ представителей русской гегельянствы и онъ какъ и отдѣльные моменты общего процесса русского развития, изображены въ ихъ лушевно-духовной цѣлостности. Особенно удачной по глубинѣ и тонкости кажется мѣрѣ изъ этого отношеніи характеристика Михаила Бакунина, выясняющая трагический характеръ его разрыва съ гегельянствомъ. Этому авторъ противополагаетъ траги-комический подобный же разрывъ у Бѣлинскаго, «комический» постольку, поскольку Бѣлинский, и въ пору своего увлечения Гегелемъ, въ сущности не зналъ Гегеля. Бѣлинскаго авторъ вообще считаетъ заслуживающимъ «разицѣній», и дѣлаетъ это. Здѣсь, думается, онъ заходитъ черезчуръ далеко. Что Бѣлинский не былъ большинъ мыслителемъ, это неоспоримо. Но авторъ врядъ ли пранъ, отрицая начисто и его значеніе какъ критика. Пусть у него имѣется немало «несправедливыхъ... а иногда просто дикихъ и фантастическихъ сужденій». Что до «удачныхъ», то эти, констатируетъ авторъ, «очень просто взяты у Станкевича». Произвѣрить это къ сожалѣнію, не могу; все-же чѣмъ кажется, что тамъ, напр., гдѣ Бѣлинскій вѣрно, «удачно» говорить о Пушкинѣ, онъ не просто копируетъ Станкевича: иначе были бы неизбѣжны срывы; а пхъ-то въ цѣломъ рядѣ его статей о поэзіи Пушкина какъ разъ нѣтъ. Въ доказательство слабости Бѣлинскаго, какъ критика, авторъ приноситъ его сужденіе о «Божеств. Комедіи»: она полна пустой символики, и Данте вообще не поэтъ. Что Бѣлинский, не читавший Данте въ подлинникѣ, не могъ увидѣть въ немъ поэта, само собою разумѣется. Что-же до «пустой символики», которую онъ чсмотрѣлъ въ «Комедіи», то тутъ напрашивается олию союзственіе, аналогичное тому, какое авторъ дѣлаетъ между Страховымъ и Ницше. Какъ Страховъ, въ нѣкоторыхъ своихъ идеяхъ, по своему предвосхитилъ Ницше, такъ и Бѣлинскій зѣть предвосхитилъ одного изъ крупнѣйшихъ современныхъ мыслителей и знатоковъ литературы, Бедедетто Кроце, который, кажется, первый въ Италии осмѣялся признать, что «божественно», чисто-поэтическое у Данте перемѣщано со множествомъ элементовъ — не «символики», а «ученаго», чуждаго поэзии аллегоризма. То, что Бѣлинскій увидѣлъ это въ дантовой поэмѣ, какъ и во второй части Фауста (на что также ссылается авторъ), свидѣтельствуетъ скорѣе въ пользу наивности у него критического чутья, нежели противъ. За недостаткомъ чѣста я лишенъ возможности отмѣнить еще кое-какія кажущіяся чѣмъ спорными утверждения и формулировки автора, а также и множество тѣхъ его, очень цѣнныхъ, замѣчаній, которая открываютъ нозы перспективы для всякаго интересующагося проблемами русской культуры. Я долженъ ограничиться общими выводомъ: наблюденія автора убѣдительнѣйше показываютъ, сколь глубоко проинизано гегельевскимъ духомъ русское сознаніе, даже въ моменты, казалось бы полною отречения отъ «метафизики» — недорочно-же «моменты» суть звенья одного и непрерывнаго процесса — и съ этой точ-

ки зре́йшіа исключительно показательно одно сдѣланное авторомъ наблюденіе: а именно, что нынѣ, среди марксистовъ, «дialektическому materialизму» не придавалось и не придается такого значенія, какъ сейчасъ въ Россіи.

П. Биньали.

**Н. Бердяевъ. О рабствѣ и свободѣ человѣка. (Опытъ персоналистической философіи). YMCA-Press. Парижъ.**

Философскія книги бывають двухъ родовъ: читая одинъ, мы путешествуемъ по философской системѣ, какъ по дотохъ неизвѣстной намъ странѣ; читая другія, мы вступаемъ въ личносъ общеніе съ самимъ философочкомъ. Книги Н. А. Бердяева всегда относились ко второму роду, и по всему душевному своему укладу они ближе къ такимъ мыслителямъ, какъ Паскаль или Ницше, нежели къ такимъ, какъ Аристотель или Кантъ. Однако никогда еще никакая его книга не застуживала яъ такой мѣрѣ называться философской исповѣдью, какъ та, которую онъ даетъ намъ теперь и о которой можно сказать, что она во многихъ отношеніяхъ вѣняетъ его жизненный и философский опытъ.

Значительную, что во введенія, предпосланномъ ей авторъ самъ говорить о противорѣчіяхъ своей мысли, раскрывая тѣмъ самимъ и основные импульсы своего философствованій, а также упоминая о «омъ» какъ складывалось оно подъ влияніемъ другихъ членителей, воспринятое въ разное время и съ разной силой. Противорѣчность этихъ импульсовъ и влияний такъ же не вредитъ у Бердяева единству его мысли, какъ не вредить единству его книги необыкновенное разнообразіе затронутыхъ въ ней проблемъ. Касается она вопросовъ религіозной философіи, этики, политической и соціальной философіи, философіи исторіи, философіи искусства, вовсе не впадая при этомъ въ излишнюю пестроту, не отступая нигдѣ отъ основной нити размышлений. Нить эта бѣется двумя излюбленными темами бердяевскаго мышленія, темой личности и темой свободы, проникающими всѣ его писанія, но никогда еще не звучавшими съ такой полнотой и си-  
лой, какъ теперь. Больѣе увлекательного введенія въ это мышленіе, чѣмъ то, которое написалъ самъ Н. А. Бердяевъ, никому не написать. Думаю, что изъ всѣхъ его работъ это самая непосредственная, самая страстная, а по нетерпимости и нетерпѣнію, по особому задору, отличающимъ ее, и самая молодая.

Такую книгу не хочется и вѣроятно не нужно «критиковать». Читая ее, чувствуешь несогласіе во многомъ, не переставая ощущать однако ея силу, ея цѣльность и понимая, что она продумана до конца, такъ что любое утвержденіе по частному вопросу, которое находишь въ ней и съ которымъ не хочешь соглашаться, связано съ основной интуїціей міра, на которой вся она покояится. О какой же интуїціи этой врядъ ли можно сказать, что она невѣрица; можно сказ-